

Annotation

В. САФОНОВ

- [КЛИМЕНТ АРКАДЬЕВИЧ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
-

**КЛИМЕНТ АРКАДЬЕВИЧ
ТИМИРЯЗЕВ**

Человек неторопливо всходил на высокую кафедру. Резными украшениями из потемневшего дуба она напоминала епископское место в готических соборах средневековья и вряд ли была моложе их. Человек был среднего роста, худощавый, с крутым мощным лбом и острой бородкой, которая придавала ему некоторое сходство с бессмертным ламанчским рыцарем.

Взойдя, он помедлил немного и оглядел зал. Стрельчатые окна, прорезанные в стенах гигантской толщины, низкий потолок и тяжелые массивные двери, сквозь которые не проникало ни одного звука извне, придавали залу печать какой-то торжественной старины.

Необычайная аудитория занимала грузные скамьи, вытертые до лоска многими человеческими поколениями. Стоявший на кафедре узнал Фрэнсиса Дарвина, чье имя, конечно, упоминалось бы среди первых имен биологов мира, если бы не было у Фрэнсиса отца Чарлза, который заставил многих назвать только что миновавший XIX век «веком Дарвина». Неподалеку от Фрэнсиса Дарвина сидели 86-летний Гукер, «патриарх ботаников» и Листер. Тысячи людей ежедневно во всех больницах и госпиталях земного шара должны благодарить Листера за спасение своей жизни. Листеровский способ обеззараживания, листеровские антисептические повязки! Сейчас это азбука хирурга. Ему, Листеру, медицина обязана одним из самых глубоких и благодетельных переворотов — победой над губительными послеоперационными заражениями, которым прежде больше половины оперированных платили страшную дань.

Кто еще был в этом зале? Гальтон, упрямо превращавший зыбкую область исследований изменчивости живых существ в отдел математики, точнейшей из наук. Крукс, один из творцов современной теории строения материи, открывший новый элемент — таллий. Рамзей, который поведал человечеству о существовании благородных газов — аргона, гелия и других, не признающих химических соединений. Вильям Томсон (лорд Кельвин), обогативший физические институты мира десятками новых изощреннейших приборов, а физику — сенсационным принципом, настолько важным, что открытие его сравнивали с открытием сохранения энергии...

Это были люди, чьи имена знали школьники во всем мире. И они собрались сюда послушать человека на кафедре! Что он им скажет? О

каком исключительной важности открытий поведаает тем, кто сами были вершинами всех отраслей самого гордого естествознания недавно начавшегося XX века?

Человек на кафедре начал говорить ровно, не спеша, почти не заглядывая в разложенные бумаги, отточенными, чеканными фразами, так, как он говорил всегда. Речь его оказалась такой же необычной, как этот зал и эта аудитория.

«Когда Гулливер в первый раз осматривал академию в Лагадо, ему прежде всего бросился в глаза человек сухопарого вида (на этих словах говоривший сделал чуть заметный нажим и улыбнулся, как бы проверяя сходство облика этого человека со своим собственным обликом) — человек сухопарого вида, сидевший, уставив глаза на огурец, запаянный в стеклянном сосуде.

На вопрос Гулливера диковинный человек пояснил ему, что вот уже восемь лет, как он погружен в созерцание этого предмета в надежде разрешить задачу улавливания солнечных лучей и их дальнейшего применения.

Для первого знакомства я должен откровенно признаться, что перед вами именно такой чудак. Более тридцати пяти лет провел я, уставившись если не на зеленый огурец, закупоренный в стеклянную посудину, то на нечто вполне равнозначщее — на зеленый лист в стеклянной трубке, ломая себе голову над разрешением вопроса о запасании впрок солнечных лучей. Если я решаюсь выступить перед этим знаменитым обществом с кратким отчетом о скромном результате моего многолетнего труда, то лишь в надежде, что предмет этот имеет хотя и очень отдаленное, но тем не менее несомненное отношение к этому вопросу, который доктор Крун, просвещенный и щедрый основатель этой лекции, считал наиболее уместной для нее темой. В течение длинного ряда лет содержанием для этих лекций служил вопрос о мышечном движении, позднее зашла речь о движениях животных и растений и, наконец, о происхождении жизненных движений вообще.

Быть может, мне позволено будет сделать еще шаг в этом направлении, в сущности последний возможный шаг, и повести речь об энергии, затрачиваемой во всех этих движениях, об ее отдаленнейшем источнике, о солнечном луче, слагающемся в запас в зеленом листе».

И вот теперь выяснилось, что сравнение со сви́фтовским человечком было только шуткой, одной из тех, которые так любил говоривший. Он рассказал сидевшим в зале, чьей профессией было открывание тайн природы, о величайшей из этих тайн — о превращении неживого в живое,

которое ежеминутно происходит в «самом таинственном веществе мира», в веществе зеленого листка растения. Он рассказал о том, что путь к разгадке этой тайны найден.

То была «крунианская лекция», которая ежегодно посвящалась Лондонским королевским обществом самому выдающемуся открытию в области естествознания, — по завещанию доктора Круна, современника Галилея.

30 апреля 1903 года эту лекцию выпало на долю прочесть Клименту Аркадьевичу Тимирязеву, первому русскому ученому, взошедшему на кафедру Ньютона и Фарадея.

II

Необычайна жизненная судьба Тимирязева и роль, сыгранная им в истории науки. Да и науки ли только? Так трудно уложить, запереть Тимирязева в какие бы то ни было заранее придуманные рамки. Вот, кажется: нашел такие рамки, определил, что такое Тимирязев. Ан нет, видишь, что он уже «перехлестнул» через них. И то, что он сделал вне рамок, вовсе не случайное для него дело, но такое же важное и основное, как и то, которое мы думали «определить».

Он был ботаником, одним из величайших ботаников всех времен. Но в школах и в вузах до сих пор изучают учение Дарвина по его книге. И мы видим, что в зоологии, например, этот человек чувствовал себя так же свободно, как и среди зеленого мира растений. Так, значит, биолог вообще? Но вот, оказывается, физики пишут ему (по поводу придуманных им приборов и способов точнейшего анализа мельчайших объемов газа и по поводу исправления им физических ошибок в исследованиях одного из крупнейших физиков): «Мы вас считаем своим и учимся у вас». «Следя за вашими опытами, мы невольно вспоминали работы великих создателей физики».

Но не торопитесь улавливать неумную, стремительную широту этого человека каким-нибудь новым определением, вроде естествоиспытатель вообще.

Вот он пишет о живописи Тернера, вот он выступает со страстными политическими статьями, вот он поддерживает бунтующих студентов. «Да это бунтарь! Это настоящий революционер!» — с бешенством говорят о нем титулованные «блюстители порядка» и реакционеры всех мастей и с бешеной яростью травят Тимирязева, как бунтаря.

В черной ночи реакции при Александре III и после кровавого разгрома революции 1905 года не раз поднимает Тимирязев свой чистый, ясный, бесстрашный голос. Он говорит о правах и о свете разума, он клеймит подлецов, помогающих русскому царизму душировать русский народ, он говорит и пишет о демократии. Лучшая часть интеллигенции считает его, профессора ботаники Тимирязева, своей совестью. Горький называет его «своим дорогим учителем» и пишет ему «как человек, очень многим обязанный в своем духовном развитии Вашим мыслям, Вашим трудам». Когда умирает Мечников, Горький призывает Тимирязева:

«Именно Вы, и только Вы, можете с должествующей простотой и

силой рассказать русской публике о том, как много потеряла она в лице этого человека, о ценности его оптимизма, о глубоком понимании ценности жизни и борьбе его за жизнь... Так хочется, чтобы Ваше слово как можно чаще раздавалось в современном хаосе понятий!» (Это написано в тягостном и предгрозовом 1916 году.)

Как праздник, как радость, как осуществление самых заветных своих надежд принял 75-летний Тимирязев Октябрьскую революцию. У него не было ни дня, ни часа колебаний. Он нес во всей чистоте ее великую культуру человечества, но «груз старого мира» не отягощал его плеч. Он послал вождю революции свою последнюю книгу «Наука и демократия». И Владимир Ильич ответил ему:

«Москва, 27.IV.1920 г.

Дорогой Клементий Аркадьевич!

Большое спасибо Вам за Вашу книгу и добрые слова. Я был прямо в восторге, читая Ваши замечания против буржуазии и за советскую власть. Крепко, крепко жму Вашу руку и от всей души желаю Вам здоровья, здоровья и здоровья!

Ваш В. Ульянов (Ленин)».

Сама тимирязевская наука, чем была она? Она не была беззубой, бесстрастной, кабинетной. Он сделал ее, в глубочайших и самых тонких ее ответвлениях, грозным боевым оружием. Борьба за свет, за разум, за служение народу — вот чем была вся тимирязевская наука. Исследователь самых сложных и самых загадочных явлений природы, он хотел, чтобы наука «сошла со своего пьедестала и заговорила языком народа». Он мечтал о «странствующих кафедрах», которые несут знания прямо в массы. Он читал массовые, народные лекции, когда это было в диковинку. Доктор десятка прославленнейших академий мира (только «императорская академия наук» не открыла перед ним своих дверей), он считал, что подлинное, гигантское развитие науке еще предстоит в том будущем, когда десятки тысяч людей из народа примут в ней участие. Всю жизнь он тщательно, любовно выискивал этих «людей из народа», этих «самоучек» (в то время они и не могли никем быть, кроме как самоучками), этих предтеч будущей могучей науки. Он не побоялся объявить простых садовников предшественниками Дарвина. До самой смерти своей он с

пристальным вниманием следил за деятельностью американского самоучки Лютера Бербанка, «обновителя земли», создателя новых растений.

По горькой иронии судьбы Тимирязев не знал, что не за океаном, а у нас в России живет обновитель, более великий, чем Бербанк. Но не один Тимирязев, никто из русских ученых не слышал тогда о Мичурине. Чиновничий заговор молчания окружал в царской России его работу.

А Тимирязев как раз был тем, кто вынес академическую науку на поля своей страны: с его именем связаны самые первые шаги русской агрономии.

Вот кем был Тимирязев!

Но и сейчас мы еще не «определили» его.

Секрет Тимирязева заключается в том, что во всей необычайной разносторонности своей он был человеком единого дела, единой цели. Жизнь и деятельность его были отлиты из одного куска. Он носил в себе словно некую магнитную стрелку, которая, что бы он ни делал, всегда указывала на самое главное и подчиняла всякую деятельность его этому самому главному в его жизни.

В этом, может быть, и состоит отличие гения от простого таланта. И сам он говорил об этом: «Гений — это идея молодости, развитая зрелым возрастом».

III

Он родился в Ленинграде (тогдашнем Петербурге) 22 мая 1843 года, в царствование Николая I.

«Я родился, — вспоминает сам Тимирязев, — буквально в двух шагах от той скалы, на которую взлетает «гигант на бронзовом коне», в самом начале той Галерной улицы, которую менее чем за два десятка лет перед тем залил кровью победитель 14 декабря своей картечью, косившей дрогнувшие ряды восставших войск и народа». И Тимирязев поясняет: «Обыкновенно принято считать, что 14 декабря было чисто военным бунтом, в котором народ стоял в стороне, но мой отец, бывший очевидцем, рассказывал, как из-за окружавшего строившийся Исаакиевский собор забора народ бросал камнями в царские войска. А от моей матери, в то время молодой девушки, жившей у родственников в далекой от центра Коломне, я слышал рассказ, как во время их обеда влетевший, как ураган, лакей, поставив поспешно блюдо на стол, крикнул: «Ну, далее распорядитесь сами, весь народ бежит на Исаакиевскую площадь, Николай бунтует, да мы ему не позволим». А какое настроение тлело под крышами, правда очень немногих, петербургских домов, можно судить из следующего семейного предания. В 1848 году к отцу один собеседник приставал с вопросом: «Какую карьеру готовите вы своим четырём сыновьям?» Отец отшучивался, но, когда тот не отставал, ответил: «Какую карьеру? А вот какую. Сошью я пять синих блуз, как у французских рабочих, куплю пять ружей и пойдем с другими — на Зимний дворец».

Семья была дворянской, но обедневшей. У Климента было четверо братьев. Отец содержал семью с трудом. Вероятно, по родственным связям он мог бы устроиться лучше, но то был человек твердых и притом республиканских принципов. Что это значило в николаевскую эпоху — вряд ли нужно специально говорить. Эти принципы жизненной прямоты, презрения ко всякому искательству и низости, служения народу были с ранних лет привиты детям.

«К Робеспьеру меня влекли, — пишет Тимирязев, — слышанные еще в детстве слова отца, убежденного республиканца эпохи Николая I, — «честный это был человек, чистый, святой человек», — причем из его слов можно было понять, какое совершенно иное направление приняла бы великая революция (он всегда гордился тем, что родился в 1789 году), если бы победа осталась не на стороне гнусных термидорианцев и их достойных

преемников, героев директории и наполеоновской республики».

Смелость и честность мысли — вот то бесценное, что маленький Климент получил от отца и сохранил на всю жизнь. И еще превосходное, немного английское по обычаям передовых семей того времени воспитание, отличное знание иностранных языков.

За несколько месяцев до смерти дрожащей уже рукой он набросал посвящение «Науки и демократии».

«Дорогой памяти отца моего Аркадия Семеновича Тимирязева и моей матери Аделаиды Климентьевны Тимирязевой.

С первых проблесков моего сознания, в ту темную пору, когда, по словам поэта: «под кровлею отеческой не западало ни одно жизни чистой, человеческой плодотворное зерно», вы внушали мне, словом и примером, безграничную любовь к истине и кипучую ненависть ко всякой, особенно общественной неправде. Вам посвящаю я эти страницы, связанные общим стремлением к *научной истине* и к этической, общественно-этической, *правде*».

Повести своих детей в жизнь по «золотому мосту» старики Тимирязевы не могли. Климент учился сам, зарабатывал себе на жизнь уроками и переводами.

«С пятнадцатилетнего возраста моя левая рука не израсходовала ни одного гроша, который не заработала бы правая. Зарабатывание средств существования, как всегда бывает при таких условиях, стояло на первом плане, а занятие наукой было делом страсти, в часы досуга, свободные от занятий, вызванных нуждой. Зато я мог утешать себя мыслью, что делаю это на собственный страх, а не сижу на горбу темных тружеников, как дети помещиков и купеческие сынки. Только со временем сама наука, взятая мною с бою, стала для меня источником удовлетворения не только умственных, но и материальных потребностей жизни — сначала своих, а потом и семьи. Но тогда я уже имел нравственное право сознавать, что мой научный труд представлял собою общественную ценность, по крайней мере такую же, как и тот, которым я зарабатывал свое пропитание раньше».

В 1864 году, когда Клименту Аркадьевичу было 18 лет, он поступил в Петербургский университет, сперва на камеральный факультет, а затем на естественное отделение физико-математического. Два события произошли вскоре после поступления Тимирязева в университет. Одно из них определило на всю жизнь путь Тимирязева-ученого, другое — путь Тимирязева-гражданина.

Однажды на лекцию в 11-ю аудиторию пришел старый чудаковатый профессор Степан Семенович Куторга с толстой книгой под мышкой.

Повернувшись к доске, он изобразил длинное, несколько неуклюжее название этой книги:

«Происхождение видов посредством естественного отбора или переживание благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь» Чарлза Дарвина.

«Книга новая, но хорошая», — помнится, прибавил Степан Семенович и вслед за тем со свойственным ему мастерством в ясных, сжатых чертах изложил содержание этой удивительной книги, показавшей нам органический мир в совершенно ином свете».

Всего год с небольшим назад эта великая книга была издана в Лондоне. Она вызвала целый переворот в уме юноши Тимирязева. Он прочел ее запоем (английским он владел как русским).

Но надвигалось второе событие. В ответ на попытку ввести в университетах полицейский порядок разразилась одна из первых студенческих забастовок, и Тимирязев безоговорочно встал в ряды забастовщиков.

Вот как он вспоминает об этом:

«В наше время мы любили университет, как теперь, может быть, не любят... Для меня лично наука была все. К этому чувству не примешивалось никаких соображений о карьере... Но вот налетела буря в образе недоброй памяти министра Путятина с его пресловутыми матрикулами^[1]. Приходилось или подчиниться новому полицейскому строю, или отказаться от университета, отказаться, может быть, навсегда от науки, — и тысячи из нас не поколебались в выборе. Дело было, конечно, не в каких-то матрикулах, а в убеждении, что мы в своей скромной доле делаем общее дело, даем отпор первому дуновению реакции, — в убеждении, что сдаваться перед этой реакцией позорно.

Но нелегко было на душе. Помнится, когда настал день лекции Д. И. Менделеева — я особенно увлекался этими лекциями, — вдруг стало так жутко, что подвернись в ту минуту какой-нибудь Мефистофель с матрикулой, пожалуй, подмахнул бы ее и не чернилами, а кровью.

Особенно выводила из себя мысль, что вот товарищ, аккуратный остзейский барончик, теперь сидит и слушает Менделеева. А почему? Потому только, что, помимо химии, он не понимает, не чувствует того, что чувствую, что понимаю я. И утешался я только мыслью, что и науку-то он, верно, не понимает по-настоящему, и не пойдет она ему впрок, что и оправдалось. Любопытная подробность: мы продолжали любить и уважать своих — не только профессоров, но и учителей: А. Н. Бекетова, Н. Н. Соколова, оставшихся на бреши разгромленного университета, *а они*

уважали нас, отсутствовавших, более, чем тех, что продолжали посещать опустевшие аудитории.

И вот теперь, на седьмом десятке, когда можешь относиться к своему далекому прошлому как беспристрастный зритель, я благодарю судьбу или, вернее, окружавшую меня среду, что поступил так, как поступил. Наука не ушла от меня — она никогда не уходит от тех, кто ее бескорыстно и непритворно любит; а что случилось бы с моим нравственным характером, если бы я не устоял перед первым испытанием, если бы первая нравственная борьба окончилась компромиссом! Ведь мог же и я утешать себя, что слушая лекции химии, я «служу своему народу». Впрочем, нет, я этого не мог — эта отвратительная фарисейски-самонадеянная фраза тогда еще не была пущена в ход».

Забастовщика Тимирязева исключили из университета. Но он продолжал учиться уже не студентом, а вольнослушателем. И за его выпускную работу ему присудили золотую медаль.

Шли шестидесятые годы прошлого столетия. В своей статье «Пробуждение естествознания в третьей четверти XIX века» Тимирязев говорит об этих годах как о «дуновении весны, которое пронеслось из края в край страны, пробуждая от умственного околечения и спячки, сковывавших Россию более четверти столетия».

Тогда «Что делать?» Чернышевского передавалась из рук в руки. Что делать? Служить народу! Бороться с врагами его! — отвечала знаменитая книга. Страстные проповеди Добролюбова и Чернышевского будили молодые сердца. Набатный «Колокол» Герцена гудел в Лондоне, и через все полицейские кордоны доносился его мощный звук. Из конца в конец России повторяли стихи Некрасова — «печальника горя народного».

А в науке эти годы совпали с началом великой «эпохи Дарвина».

Вот тогда полностью определился путь Тимирязева.

Журнал «Отечественные записки» был общественной трибуной того времени. В этом журнале юноша-студент пишет о Гарибальди, о голоде в Ланкашире, а в 1864 году печатает свой первый очерк теории Дарвина, зародыш той знаменитой, поистине бессмертной книги, по которой вот уже более полувека учатся многие поколения студентов.

Отдельно статьи о Дарвине из «Отечественных записок» были изданы уже в следующем, 1864 году. Отец Климента, Аркадий Семенович, был еще жив. Он взял книгу на ночь (он часто читал ночи напролет) и на другой день утром сказал сыну: «Очень интересно, только что это вы все про голубей да про растения пишете, а о человеке ни слова? Не смеете? Моисей своей книгой Бытия запретил, боитесь!»

Но уже скоро Дарвин посмел сказать и о человеке: вышло его знаменитое «Происхождение человека». А Тимирязев во всю остальную свою жизнь, о чем бы он ни говорил и ни писал — о теории ли Дарвина, об истории ли науки, о делах ли и событиях на своей родине или за границей, о тайне ли зеленого листа, — всегда это было о человеке, о том, как должен жить человек, о его непобедимом разуме, и ко всему, что сделал и написал Тимирязев, могли бы быть отнесены слова Горького: «Человек — это звучит гордо».

IV

«Осенью 1867 года проездом из Симбирска, где я производил опыты по плану Д. И. Менделеева, я заехал к П. А. Ильенкову в недавно открытую Петровскую академию. Я застал П. А. Ильенкова в его кабинет-библиотеке за письменным столом; перед ним лежал толстый свеженький немецкий том с еще заложеным в него разрезальным ножом, это был первый том «Капитала» Маркса. Так как он вышел в конце 1867 года, то, очевидно, это был один из первых экземпляров, попавших в русские руки. Павел Антонович тут же с восхищением и свойственным ему умением прочел мне чуть ли не целую лекцию о том, что уже успел прочесть; с предшествовавшей деятельностью Маркса он был знаком, так как провел 1848 год за границей, преимущественно в Париже, а с деятельностью пионеров русского капитализма — сахароваров — был лично знаком и мог иллюстрировать эту деятельность и лично знакомыми ему примерами. Таким образом, через несколько недель после появления «Капитала» профессор химии недавно открытой Петровской академии уже был одним из первых распространителей идей Маркса в России».

Так рассказывает Тимирязев о двух новых важных событиях своей молодости: он стал ближайшим сотрудником Менделеева в первых в России экономических опытах, заведя одним из трех опытных полей (симбирским), и уже в 24-летнем возрасте познакомился с великим учением Маркса — самым грозным протестом против зла и неправды жизни, с самым мощным призывом и предсказанием нового общественного строя, в котором хозяином будет трудовой человек.

Вольнослушателю Тимирязеву, получившему золотую медаль, предстояла заграничная командировка. Профессор А. Н. Бекетов сказал ему:

— По-настоящему я должен дать вам инструкцию, но предпочитаю, чтобы вы сами себе ее написали.

И Тимирязев написал:

«Так как из работ г. Тимирязева видно, что он занимается физиологией питания и в особенности питанием листьев и влиянием света на эти отправления, то можно советовать ему продолжать свои занятия в однажды избранном направлении. При этом нельзя не выставить на вид г. Тимирязеву, что физиология, как наука молодая, еще не установившаяся, не обладает ни твердыми теоретическими основаниями, ни выработанными

методами, так как собственно физиологической школы в настоящее время не существует. Настоящая физиологическая школа должна возникнуть на прочных основаниях физики и химии...

Подобно тому, как физиология животных обязана своим началом медицинским школам, так и физиология растений будет в значительной мере обязана своим развитием агрономическим школам, и в настоящее время сельскохозяйственные академии, опытные станции, кафедры агрономической химии едва ли не важнейшие центры, в которых развивается физиология растений, в особенности физиология питания...»

Это был поразительный по ясности и смелости план полного преобразования одной из важнейших областей науки о жизни, дерзкое утверждение, что академическая наука будет преобразована практической, земледельческой наукой. Это был, кроме того, план научной работы, твердо и точно предписанный Тимирязевым самому себе на всю жизнь, — случай, почти беспримерный в истории науки.

Он поехал сначала в Гейдельберг. Там он работал у крупнейших немецких физиков — Бунзена, Гельмгольца, Кирхгофа — в двухэтажном здании университетских физических лабораторий, которое с немецкой высокопарностью именовалось «дворцом природы». Здесь были точно отмерены часы для работы, для сна, для неизменной кружки пива. И даже для восхищения природой предназначалось специальное место — Рорбахское шоссе с сентиментальным пейзажем развалин средневекового замка за Неккаром, шоссе, которое называлось «дорогой философов», потому что многие поколения немецких ученых совершали именно тут, и больше нигде, свои вечерние прогулки.

Но Тимирязев спешил в Париж, где Буссенго создавал агрономическую науку, Бертло проникал в тайны строения сложнейших веществ, вырабатываемых в живом теле, и Клод Бернар, великий физиолог, сын крестьянина, демонстрируя на своих лекциях сходство жизненных процессов у животного и растения, восклицал: «Душа? Хотел бы я, чтобы мне ее показали!»

Это был Париж кануна франко-прусской войны, кануна Парижской коммуны. Общественные, политические новости живо обсуждались в лабораториях. Удивительным показалось это после чинных петербургских лабораторий. Не походило это тоже и на гейдельбергский «дворец природы», где все было разграфлено по линейке, выстроено по ранжиру и самый воздух, казалось, был высушен так, как растения в гербарии.

— У нас долбят, — сказал однажды Тимирязев великому химику, — что тот, кто посвятил себя науке, умер для общественной жизни.

Он вспомнил остзейского барончика на лекциях Менделеева.

Бертло расхохотался:

— Ученый не должен заниматься политикой! Это афоризм царедворца.

Два года провел Тимирязев за границей. Вернувшись на родину, он защитил магистерскую, затем докторскую диссертации — все на ту же тему о создании живого из неживого при помощи солнечного света в зеленом растении.

Он был избран профессором Петровской академии; в Московском университете он создал первую в России кафедру анатомии и физиологии растений.

Среди студентов академии росли революционные настроения. Нескольких исключили по политическим мотивам. Трех арестовали. В их числе был Владимир Галактионович Короленко, будущий замечательный писатель. Сам министр, князь Ливен, председательствовал на совете, разбиравшем дело. И только один голос раздался в защиту студентов — голос Тимирязева.

Так писал об этом позднее Короленко Тимирязеву;

«Мы, Ваши питомцы, любили и уважали Вас в то время, когда Вы с нами спорили, и тогда, когда учили нас ценить разум как святыню. И тогда, наконец, когда Вы пришли к нам, троим арестованным Вашим студентам, а после до нас доносился из комнаты, где заседал совет с Ливеном, Ваш звонкий, независимый и честный голос. Мы не знали, что Вы тогда говорили, но знали, что то лучшее, к чему нас влекло тогда неопределенно и смутно, звучит и в Вашей душе в иной, более зрелой форме».

В самом начале девяностых годов студенты Московского университета в годовщину смерти Чернышевского решили не слушать лекций. Они предупредили профессора Тимирязева, и он не пошел в университет. В этот день студенты отслужили в церкви панихиду о рабе божьем Николае.

Когда следующая очередная лекция Климента Аркадьевича уже началась, в аудиторию вошел декан, известный математик Н. В. Бугаев. Он был бледен, и руки его, в которых он держал какую-то бумагу, заметно дрожали. Приподнявшись на цыпочки, он зашептал на ухо Тимирязеву. Оказалось, что надо было объявить выговор, и притом перед студентами, профессору Тимирязеву за пропуск предыдущей лекции, за явное участие в студенческой демонстрации, бунте и мятеже, и профессор Бугаев не знал, как это ему сделать. Климент Аркадьевич, улыбаясь, взял из рук Бугаева бумагу и сам себе прочел выговор. Буря возмущения разразилась в аудитории. Но, остановив знаком руки крики студентов, Тимирязев сказал:

— У нас с вами более серьезные вопросы на очереди.

И как ни в чем не бывало продолжал прерванную лекцию.

Имя Тимирязева гремело. В Петровскую академию к нему приезжали ботаники, агрономы, работники редких тогда сельскохозяйственных опытных станций — настоящее паломничество.

Наука Тимирязева служила народу. В России, через два года на третий поражаемой недородом, в России, где миллионы земледельцев-крестьян были вынуждены в страшные голодные годы питаться лебедой, Тимирязев самой святой задачей науки объявил: добиться, чтобы два колоса вырастали там, где рос один.

Для этого требовалось много условий, одно из которых, важнейшее, не зависело от ученого. Нужно было сделать отсталую страну передовой, смести помещичий, царский строй. Но другое, тоже необходимое условие зависело от ученого, и общество ждало и требовало, чтобы наука выполнила это условие. Ученый должен познать самые глубокие, самые тайные процессы жизни растения, чтобы разгадать их, стать их хозяином, направить по-своему — и изменить растение.

Дарвин доказал, что такое изменение возможно. Мало того — изменения живых существ необходимо происходили в истории жизни на земле и в истории прирученных человеком животных и культурных растений. Теория Дарвина давала общие законы превращения живого мира. Тимирязеву было ясно, что всякая и теоретическая и практическая работа в биологии — наука о жизни — может идти теперь только под знаком Дарвина.

И как же неукротимо защищал он всю жизнь учение Дарвина, пропагандировал его, двигал вперед! Деятельность Тимирязева-дарвиниста поистине беспримерна. Всю силу, всю страсть свою, всю свою беззаветную преданность науке, безукоризненную честность мысли и непоколебимую веру в торжество правого дела отдал он защите и развитию идей Дарвина в науке, обороне их от всяческих врагов. И по признанию самих врагов, величайшим дарвинистом мира («а дарвинистов в науке столько, сколько истинных натуралистов», замечал Тимирязев), величайшим не просто продолжателем, но строителем учения Дарвина после смерти его творца был именно Тимирязев.

Сам же он вспоминал как об особенном счастье своей жизни, что ему удалось встретиться с Дарвином и говорить с ним. Случилось это тогда, когда Тимирязев был еще молодым ученым, а Дарвин — стариком. Он жил

в маленьком провинциальном английском селении Даун. Дарвин был слаб, постоянно болел, и семья оберегала его от назойливых посетителей, которые со всех стран стекались в Даун. Но к Тимирязеву Дарвин вышел.

«Передо мной, — вспоминал Тимирязев, — стоял величавый старик с большой белой бородой и спокойным, ласковым взглядом глубоко впалых глаз».

Дарвин повел русского ученого в теплицу. Странные растения взбирались там по натянутым бечевкам; листья, покрытые слизистыми волосками, на глазах сами, как кулаки, сжимались, когда в них осторожно клали кусок мяса или мелких насекомых. То были насекомоядные растения, предмет одного из последних изысканий Дарвина, странные растения, питающиеся живыми существами и переваривающие их так, как переваривает пищу желудок животного (опять единство жизненных явлений в животном и растительном мирах), растения, настолько удивительные, что до исследования Дарвина многие ботаники отрицали само их существование.

Тогда, в Дауне, встретились тот, кто открыл общий закон развития жизни на земле, и тот, кто хотел разгадать, каким образом вообще возникает живое вещество.

Вокруг нас — воздух, вода, камни, песок, почвы — твердая оболочка земного шара с ее минералами. Физики и химики изучают их; составлены точнейшие списки простейших химических веществ — элементов, из которых состоит весь неживой мир.

Но из этих же элементов состоят и тела всех живых существ. Никаких новых, особых «жизненных» элементов там нет. Как же превращают живые организмы в свое тело вещества неживого мира? Как оживляется внутри живых организмов материя? Ни одному химику пока не удастся добиться такого превращения в своих ретортах. А в живых существах оно происходит постоянно — иначе не было бы и самой жизни.

Хищные животные поедают травоядных. Травоядные питаются растениями. Но и такие растения, как, например, грибы, живут за счет перегноя, то есть за счет органических веществ, уже раньше образованных какой-то другой жизнью.

Все это жизнь-нахлебница, которая сама по себе не могла бы существовать.

Только внутри зеленых растений живое вещество образуется непосредственно из веществ минеральной среды. Тут как бы исходный пункт всякой жизни. В этой самой удивительной лаборатории, общей кормилице — в зеленом листе, — скрыта величайшая тайна живого мира.

И ее-то всю свою жизнь разгадывал Тимирязев.

Путь, который лежал перед наукой, проникающей в тайны зеленого листа, еще не пройден до конца. Но самую значительную часть этого пути прошел Тимирязев.

Он твердо доказал, что в распоряжении растения нет никаких особых, сверхъестественных сил: работа зеленого листа полностью подчинена, как и все в природе, закону сохранения энергии.

Тимирязев изобретал прибор за прибором для точнейшего исследования таинственного явления. Скоро он мог уже анализировать состав миллионных долей кубического сантиметра газа, выделенного растением, — поистине микроскопические газовые пузырьки.

Марселен Бергло однажды сказал ему:

— Каждый раз, что вы приезжаете к нам^[2] вы привозите новый метод газового анализа, в тысячу раз более чувствительный.

Но эти тончайшие исследования сами по себе он никогда не считал бы достигшими своей цели, пока результаты, добытые наукой, не стали бы общим достоянием. Служение науке в глазах Тимирязева было неразрывно со служением миллионам людей. Он повторял: «Наука должна сойти со своего пьедестала и заговорить языком народа». И в 1875/76 году он читает целый курс публичных лекций — вещь неслыханная в те времена! — в Московском политехническом музее. И из этих лекций вырастает вторая популярная книга Тимирязева — «Жизнь растения», которой была суждена такая же исключительная судьба, как и книге о дарвинизме. О ней, об этой новой книге, рецензент знаменитого английского естественнонаучного журнала «Природа» писал, что она на голову с плечами выше всех других подобных книг. Дукинфильд Скотт, ботаник с мировой известностью, говорил:

— Это самая интересная книга, которую я когда-либо читал.

Шестьдесят пять лет протекло с того времени, как она возникла, но все новые и новые издания ее появляются на свет, на новые языки переводится она, словно неувядаемая сила заключена в слове Тимирязева.

Он хочет показать, что нет такого научного вопроса, о котором не нужно и не интересно было бы знать обществу. Он читает ряд лекций о «задачах современного естествознания». Огромную аудиторию собирают его публичные чтения, объединенные потом в книгу «Земледелие и физиология растений».

Чтобы сделать зримыми для всех процессы, протекающие в живом растении, он конструирует замечательный «вегетационный домик» со стеклянными стенками, где растения растут в стеклянных сосудах, питаются

химически выверенными, растворенными смесями солей.

Но все тернистей и тернистей становится путь Тимирязева. Во вражеском лагере — во всем этом гигантском тысячеликом болоте реакции, против которого восстал Тимирязев, — тоже понимают, что тимирязевская наука — это не бесстрастная, бессильная, беззубая академическая наука, но боевое оружие. Опровергнуть его взгляды пытались сотни раз. Столпы официальной науки и ее титулованные покровители выступали против Тимирязева и его идей в газетах и журналах, в толстеннейших книгах. Но кончилось это конфузом, позором для опровергателей и новым торжеством Тимирязева. Тогда были приняты все меры к тому, чтобы выбить из рук Тимирязева его научное оружие.

В министерских канцеляриях, в черносотенных листках на него строчат доносы, его травят.

Студенчество Петровской академии объявили неблагонадежным. Академию закрыли, потом вместо нее открыли институт. Тимирязева в институт больше не приглашали. Он был еще профессором в Московском университете. Когда исполнилось тридцать лет его научной деятельности, его торжественно поздравили и объявили:

— Теперь вы выслужили положенное число лет, в вам пора на покой.

Он остался только внештатным профессором.

Приближался революционный 1905 год. Бастовали рабочие, бастовали студенты. Перетрусившим профессорам предлагали подписывать обращение к студенчеству.

— Вы их учителя, удержите их от волнений.

Внештатный профессор Тимирязев ответил:

— Я этого не подпишу.

Тогда его попытались удалить от дел — авось смирится. Но великий ученый не смирился.

В это время у него была уже мировая слава.

В 1903 году он получил приглашение от Лондонского королевского общества прочесть крунианскую лекцию.

Вернувшись на родину, он напечатал в 1905 году в «Русских ведомостях» статью, по поводу которой ему сказали:

— Ого, батенька, да вы намекаете на республику!

Он выходит в отставку в 1914 году вместе с 125 научными работниками в знак протеста против разгрома, которому подверг Московский университет министр Кассо, в том самом году, когда Лондонское королевское общество избирает русского ученого Тимирязева своим членом.

Удар и временный паралич сваливают его, но он еще может писать и диктовать. И он пишет десятки статей, в том числе и для энциклопедии Граната. Здесь Тимирязев рассматривает самые решающие, узловые вопросы науки, человеческого знания вообще, истории борьбы за знание, большие, спорные вопросы современной научной мысли. Энциклопедист, он подытоживает свою необъятную эрудицию.

Без всяких оговорок и колебаний Тимирязев принял Октябрьскую революцию. Он был в числе первых ученых, сразу перешедших на сторону восставшего народа. Рабочие избрали его членом Московского Совета. Он пишет замечательное письмо Московскому Совету, напечатанное на многих языках:

«ТОВАРИЩИ!»

Избранный товарищами, работающими в вагонных мастерских Московско-Курской железной дороги, я прежде всего спешу выразить свою глубокую признательность и в то же время высказать сожаление, что мои годы и болезнь не позволяют мне присутствовать на сегодняшнем заседании.

А вслед за тем передо мной встает вопрос: а чем же я могу оправдать оказанное мне лестное доверие, что я могу принести на служение нашему общему делу?

После изумительных, самоотверженных успехов наших товарищей в рядах Красной Армии, спасших стоявшую на краю гибели нашу Советскую Республику и вынудивших тем удивление и уважение наших врагов, — очередь за Красной Армией труда. Все мы — стар и млад, труженики мышц и труженики мысли — должны сомкнуться в эту общую армию труда, чтобы добиться дальнейших плодов этих побед. Война с внешним врагом, война с саботажем внутренним, самая свобода — все это только средства: цель — процветание и счастье народа, а они создаются только производительным трудом. Работать, работать, работать! Вот призывный клич, который должен раздаваться с утра и до вечера и с края до края многострадальной страны, имеющий законное право гордиться тем, что она уже совершила, но еще не получившей заслуженной награды за все свои жертвы, за все свои подвиги. Нет в эту минуту труда мелкого, неважного, а и подавно нет труда постыдного. Есть один

труд: необходимый и осмысленный. Но труд старика может иметь и особый смысл. Вольный, необязательный, не входящий в общенародную смету, — этот труд старика может подогреть энтузиазм молодого, может пристыдить ленивого. У меня всего одна рука здоровая, но и она могла бы вертеть рукоятку привода; у меня всего одна нога здоровая, но и это не помешало бы мне ходить на топчаке.

Есть страны, считающие себя свободными, где такой труд вменяется в позорное наказание преступникам, но, повторяю, в нашей свободной стране в переживаемый момент не может быть труда постыдного, позорного.

Моя голова стара, но она не отказывается от работы. Может быть, моя долголетняя научная опытность могла бы найти применение в школьных делах или в области земледелия. Наконец, еще одно соображение: когда-то мое убежденное слово находило отклик в ряде поколений учащихся; быть может, и теперь оно при случае поддержит колеблющихся, заставит призадуматься убегающих от общего дела.

Итак, товарищи, все за общую работу не покладая рук, и да процветет наша Советская Республика, созданная самоотверженным подвигом рабочих и крестьян и только что у нас на глазах спасенная нашей славной Красной Армией!

Климент Аркадьевич Тимирязев,

член Московского Совета Рабочих, Крестьянских и

Красноармейских депутатов.

6 марта 1920 г.».

Да, труд и долголетняя научная опытность этого старика не могли не найти применения в свободной Республике Советов.

Он был избран членом Социалистической академии: в Наркомпросе он вошел в Государственный ученый совет. Он стал председателем ассоциации натуралистов рабочих-самоучек.

20 апреля 1920 года, после участия в заседании коллегии сельскохозяйственного отдела Моссовета, Климент Аркадьевич весь вечер, до одиннадцати часов, работал за письменным столом над предисловием к

последнему сборнику своих научных трудов — «Солнце, жизнь и хлорофилл». Ложась спать, он почувствовал себя больным. Это было крупозное воспаление легкого. Сдало сердце. Предисловие к книге «Солнце, жизнь и хлорофилл», скромно названной им итогом его «полувековых попыток ввести строгость мысли, блестящую экспериментацию физики в изучение самого важного физиологического явления», осталось незаконченным.

Утром 27 апреля воспаление перешло на другое легкое.

В этот день пришло письмо от Владимира Ильича Ленина, приведенное нами во II главе этой книги.

То была последняя великая радость Тимирязева.

Его сердце перестало биться в полночь с 27 на 28 апреля 1920 года.

За день до смерти он сказал врачу-коммунисту Б. С. Вейсброду, лечившему его:

«Я всегда старался служить человечеству и рад, что в эти серьезные для меня минуты вижу вас, представителя той партии, которая действительно служит человечеству. Большевики, проводящие ленинизм, — я верю и убежден, — работают для счастья народа и приведут его к счастью. Я всегда был ваш и с вами. Передайте Владимиру Ильичу мое восхищение его гениальным разрешением мировых вопросов в теории и на деле. Я считаю за счастье быть его современником и свидетелем его славной деятельности. Я преклоняюсь перед ним и хочу, чтобы об этом все знали. Передайте всем товарищам мой искренний привет и пожелание дальнейшей успешной работы для счастья человечества».

Так сумел умереть этот человек.

VI

Эта жизнь была пламенным трудовым подвигом. В изумлении останавливаешься перед неисчерпаемой огромностью того, что сделал Тимирязев.

Неукротимый борец, ученый-гражданин, педагог, воспитавший несколько поколений замечательных исследователей, экспериментатор, пролагавший новые пути в лабораторной практике, «патриарх русской агрономии», неутомимый переводчик, включивший в русскую литературу сотни печатных листов образцовых созданий мировой общественной и научной мысли, замечательный популяризатор, самый блестящий в русской (а быть может, не только в русской) научной литературе, автор свыше 100 специальных работ, свыше 150 статей, нескольких десятков книг, публичный лектор, впервые в России выступивший перед «вольной аудиторией» со связными курсами целых дисциплин, действительный и почетный член четырех десятков академий, университетов, научных обществ всего мира...

Работа до краев наполняла эту жизнь.

Но те, кто лично знал Тимирязева, сохранили нам образ не педанта, углубленного в свои микроскопы, в свои книги, дозволяющего себе прогулки только из дома в аудиторию, на опытные поля да в «сады мысли», но человека, открытого всем живым радостям мира. Он страстно любил природу, путешествия, далекие переходные экскурсии; с ним был неразлучен фотоаппарат, и объектив его направляла чаще всего не рука ботаника, но рука влюбленного в солнце, в реки и моря, в высокое небо, цветущую землю и великие сокровища, созданные на ней человеческой культурой.

Работая, он напевал.

Но действительно была в нем и подтянутость, привитая еще воспитанием в родительском доме и сохранившаяся на всю жизнь, как ненависть ко всяческой внутренней и внешней распущенности и неряшливости, как уважение к труду и умение работать.

Страстное горение этой жизни не прекращалось ни на день, и кличка «неистовый Климент», кем-то данная еще в восьмидесятых или девяностых годах, так же пристала к Тимирязеву, как «неистовый Виссарион» пристало к Белинскому.

Но это было внутреннее кипение, которому строжайшая дисциплина

воли не позволяла прорваться наружу. Джентльменски корректным, говорившим ровно, неспешно («90 слов в минуту», сосчитал один из его учеников), с дикцией далеко не идеальной, но энергичными, чеканными фразами, передающими мысль с исключительной ясностью, «так что стенограммы его речей могли бы неуправленными идти прямо в печать», — таким запомнили Тимирязева знавшие его.

В Тимирязеве не было ровно ничего от «ученого чудака». Он не страдал ни рассеянностью, ни забывчивостью. Наоборот, во всем, до мелочей, он был пунктуально точен.

Общительный, живой, с тонкими подвижными чертами лица и ясным взглядом умных глаз, он и в самом облике своем обладал каким-то особенным изяществом. В споре он никогда не кричал и никогда не говорил грубостей. Но он умел так уничтожить противника, что тому до конца дней своих было уж не забыть «разноса», учиненного ему Тимирязевым.

Однажды осенью 1919 года меньшевик Суханов вздумал выступить перед профессором Тимирязевым с критикой большевиков. «В ответ на это он получил, — вспоминает сын Климента Аркадьевича А. К. Тимирязев, — такую страстную отповедь, что, как говорят, горшком выкатился из кабинета и уже больше никогда не появлялся. Но в этой отповеди, по существу уничтожающей противника, не было ни одного ругательного слова».

После Октябрьской революции Тимирязев не мог равнодушно слышать никакого упоминания о саботаже.

Самые жесткие меры по отношению к саботажникам он оправдывал и готов был предложить сам. И ему ли, чья наука и вся жизнь были служением народу, ему ли было мириться с презренным нежеланием работать для народа?

Быть может, никто во всей истории мировой науки не умел с такой отчетливостью, как именно Тимирязев, показать гражданственность науки, убедить, что наука не есть дело одних ученых и что интересы ее сплетаются с самыми важными интересами общества.

Он сказал: «Борьба со всеми проявлениями реакции — вот самая общая, самая насущная задача естествознания».

Он перевел большой отрывок из «Грамматики науки» Пирсона ради содержащегося там утверждения, что точная современная наука — лучшая школа гражданственности.

Французский писатель Флобер говаривал, что он хотел бы укрыться от житейской суеты в башне из слоновой кости. Такую башню Тимирязев ни за что не счел бы подходящим местом для великих открытий.

Он мечтал о типе гармоничного человека (и всей своей жизнью пытался воплотить его). Он вспоминает о Юнге, основателе оптики, который взял за правило, что человек должен уметь делать все, что делает другой человек.

«Творчество поэта, диалектика-философа, искусство исследователя — вот материалы, из которых слагается великий ученый», — ни у кого, кроме Тимирязева, мы не найдем такого, поистине поразительного определения.

Его собственный опыт показал, что развитие науки не безмятежная идиллия. Это жестокая борьба. Он видел, что многое на деле происходило не так, как пишут в учебниках, многое неосновательно забыто, и он создает ряд замечательных этюдов по истории науки, десятки страниц, которые и по сей час не превзойдены. Он создает жанр боевой публицистической биографии — каждому независимо от специальности стоит прочесть, что он написал о Лебедеве, Вырубове, Берто, Пастере и о более старых — Сенебье, Пристли, Лавуазье, Роберте Майере.

Однако для него задача заключалась не только в том, чтобы устанавливать научные истины, но и в том, чтобы сделать их общим достоянием.

«С первых же шагов своей умственной деятельности я поставил себе две параллельные задачи: работать для науки и писать для народа, то есть популярно».

Впервые и, быть может, единственный раз в истории науки была формулирована равноценность задач ученого и популяризатора.

Он владел огненным словом. Он не снисходил к «профанам» и не выполнял «скучной обязанности».

В 1884 году он написал замечательные строки:

«Делая все общество участником своих интересов, призывая его делить с ней радости и горе, наука приобретает в нем союзника, надежную опору дальнейшего развития».

Перечитывая мастерские образцы тимирязевской популяризации, поражаешься, как умел этот человек писать о самых, казалось бы, сухих и скучных вещах, как умел показать, что они касаются всех и должны быть интересны всем. Он избегал псевдоученого жаргона. Он не боялся (как и в своих научных работах) процитировать Шекспира, Некрасова. Общедоступности он достигал высочайшим культурным уровнем своей популяризаторской работы.

Науку он изображал не как некий недостижимый храм, в котором облеченные чудесным всезнанием жрецы совершают таинственные обряды, приоткрыв только краешек завесы для непосвященных. Нет,

Тимирязев не устает повторять: наука — это мастерская, учись работать, тебе найдется место в ней!

Он умел заражать радостью научного творчества, поэзией науки. Он учил понимать и потому любить науку.

Мало кто так писал о людях и их деле, как писал Тимирязев. Его ученик вспоминает, что люди избирали специальностью биологию, прочтя Тимирязева. И это веская похвала для пропагандиста науки.

Тимирязев не уставал подчеркивать: кто ясно думает, тот ясно пишет. И много раз напоминал, какое значение придавали великие натуралисты старых времен языку своих произведений.

В нем самом было многое от таких великих натуралистов прошлого — от людей, которых называли энциклопедистами, «живыми университетами», потому что они владели всей областью своей науки, а не узеньким коридорчиком в ней.

Говорят: это было возможно во времена Аристотеля, какого-нибудь средневекового Гессьера, даже, скажем, Александра Гумбольдта.

Тимирязев доказал, что это возможно в наше время и что это тип научной работы, который не только не препятствует глубокому овладению какой-либо специальной областью в науке, но, наоборот, позволяет увидеть и открыть другим самые широкие горизонты и в этой области, и во всей науке.

Три качества он считал безусловно необходимыми для большого ученого: *творческое воображение*, которое соответствует воображению художника; *трудолюбие*, сочетаемое с самой суровой самокритикой, *отбором*. Он утверждал, что отбор — это важнейшая составная часть научной работы, всякой выработки ценностей вообще. Это он иллюстрировал ссылками на Дарвина, Фарадея, Ньютона, Руссо, Флобера, Толстого и художника Мейссонье.

«Великие мыслители достигали высоких результатов не потому только, что верно думали, но и потому, что много думали и многое из передуманного уничтожали без следа».

В другой раз он сказал так: «Великие художники, конечно, тоже искали новых путей, но они сообщали миру только свои находки, а свои «искания» хранили в своих мастерских или без жалости их уничтожали».

VII

Патриархом русской агрономии называли его, русским Геккелем и даже русским Дарвином. Англичане писали о нем как о первом ботанике мира, и тиражи «Жизни растения» соперничали в Англии с тиражами Диккенса.

Но удивительная вещь! Вот мы раскрываем пухлую книжищу на много сотен страниц. Это даже не Пантеон, это — поименный список всех людей, когда-либо оставивших некий след в истории науки. С какой дотошностью, с какой любовью к архивной пыли составлен этот историко-научный формуляр, и кого в нем нет! Пустопорожние доценты, отпечатавшие сообщение в несколько строк в «прибавлениях» к какому-либо академическому «вестнику»: императоры и короли, велевшие замостить дорогу или поощрившие винокурение; средневековые доктора в шапочках сирийских магов, столетия почивавшие в мире и всеобщем забвении. Одного только имени не знает универсальный «хандбук» по истории естествознания и техники ученейшего Дармштедтера: имени Тимирязева. Не было не то что великого исследователя тайн живой природы — не было вообще никакого Тимирязева.

Случайностью не объяснить этой рассеянности немецкого историка науки.

Была своя закономерность в разительном отличии отношения к Тимирязеву официальной науки Германии от отношения к русскому ученому английской и французской науки, всей передовой науки мира. Наука бряцающего оружием пруссачества, крохоборческая, близорукая, шовинистическая, давно забывшая о великанах, некогда создавших славу немецкому естествознанию, — эта наука знала, кто был ее непримиримым противником и разоблачителем ее ничтожества. Именно в немецких университетах расплодился те «полчища специалистов, различных «-истов» и «-логов», пигмеев, величавших мечтателем и фантазером всякого, пытавшегося окинуть взором более широкий горизонт», как говорил о них Тимирязев.

В немецких университетах работали непримиримые враги научного дела Тимирязева — ботаники Сакс, Пфэффер, Франса, которые в самой науке своей ханжески и раболепно пресмыкались перед непостижимой, сверхъестественной «жизненной силой», как и вся их наука пресмыкалась перед прусской казармой, «тайными советниками» и генеральским сапогом.

И, заклеивши их, с гневным презрением отвернулся от них Тимирязев — от них и от расистской проказы, которую уже тогда занесли на университетские кафедры Германии достойные предшественники нынешних фашистских мракобесов.

Почти три четверти века прошло со времени смерти Тимирязева.

Время — неподкупный судья.

Те, кто спорил с Тимирязевым и не мог оспорить, те, кто со спесивой важностью воображал, что умалит его своим озлобленным молчанием, — где они теперь, эти пигмеи? Кто знает, кто помнит о них?

Но, как горные вершины, которые, чем дальше отойдешь от них, тем отчетливее вырисовываются во всей своей истинной громадности, так все величественнее, все огромное вырастает перед нами фигура Тимирязева — ученого-гражданина, ученого-бойца, великого натуралиста.

В очень многих своих научных воззрениях он опередил свое время. В книгах его есть страницы, смысл которых полностью раскрылся только сегодняшней науке. А есть и такие страницы, которые, несомненно, укажут путь в науке завтрашнего дня.

Живой голос Тимирязева доносится до нас сквозь даль четверти века. Он чище, отчетливее нам слышен, чем слышали его даже современники. Он помогает решать, распутывать споры, касающиеся наших нынешних научных дел и событий.

Самая могучая наука о живой природе, наука, создающая новых животных и новые растения, наука, которая древнюю власть земли заменила в нашем Советском государстве властью над землей, — это тимирязевская наука, подхваченная сейчас десятками прямых учеников великого ученого и тысячами учеников заочных — университетских профессоров, селекционеров, агрономов, колхозников-опытников.

В предвоенные годы по решению правительства Советского Союза было издано собрание сочинений Тимирязева. Последние тома выходили тогда, когда на Западе уже запылал военный пожар, зажженный разбойничьим гитлеровским империализмом.

И мы по-новому перечитали страницы, написанные Тимирязевым четверть века назад, во время войны 1914–1918 годов. «Я — русский человек», — писал он тогда. Он разоблачал чудовищную пропаганду расовой ненависти. Какие гневные слова он находил, чтобы бичевать «тех, чья специальность — спускать с цепи демона войны!» Ложь, «ложь во всех видах» — вот ядовитое оружие поджигателей войны. Обрекая на муку, на

смерть миллионы, они и свой собственный народ «с завязанными глазами» толкают в пропасть.

И «перед ледящим ужасом совершающегося» старый рыцарь истины Тимирязев восклицает:

— Долой ложь!

В июне 1917 года, когда народы половины Европы стонали под гогенцоллерновским сапогом, — в том самом июне, когда большевики повели за собой в Петрограде четырехсоттысячную демонстрацию народных масс и красные знамена вселили страх в сердца министров правительства Керенского, 75-летний ученый пишет статью «Красное знамя». «Воспряньте, народы, — призывает он в ней, — и подсчитайте своих утеснителей, а подсчитав — вырвите из их рук нагло отнятые у вас священнейшие права ваши: право на жизнь, на труд, на свет и прежде всего на свободу, и тогда водворится на земле истина и разум, производительный труд и честный обмен их плодами».

Никакой рассказ о Тимирязеве не заменит его собственного живого слова.

Не только ботаники, не только биологи, не только научные работники должны читать Тимирязева — нет, вся наша молодежь, кто бы это ни был: учителя, студенты, инженеры, полеводы, стахановцы в тылу, бойцы на фронтах Великой Отечественной войны с германским фашизмом.

Потому что мало таких молодых по духу книг, как книги Тимирязева, мало книг, которые так бы вдохновляли к творчеству, к смелым дерзаниям, к великим открытиям, как всегда, во всем учили бы любить истину и бороться за нее, как книги Тимирязева.

1943 год

notes

Примечания

1

Удостоверения, выдававшиеся студентам после внесения их в составленные для полиции списки.

Тимирязев был в Париже в 1870, 1877 и 1884 годах.